

ИЗ ЗАЛА СУДА

Я.С.КИСЕЛЁВ

Началось с проступка...

ГОСЮРИЗДАТ • 1958



Я. С. КИСЕЛЕВ

*Началось
с проступка...*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва — 1958

Государственное издательство юридической литературы начинает выпуск серии брошюр „Из зала суда“. В них будет освещаться воспитательная роль советского суда.

Авторы брошюр используют конкретные уголовные, гражданские, трудовые и другие дела, рассмотренные в судах.

Одной из задач этой серии является вовлечение советской общественности в большую работу по предупреждению преступлений. Кроме того, Госюриздат и авторы ставят перед собой цель показать, как применяются советские законы на практике, как охраняются права и интересы граждан в судах.

Данная брошюра является первой из указанной серии.

Издательство обращается к читателям с просьбой присылать свои отзывы и пожелания по этой и другим брошюрам серии „Из зала суда“ по адресу: Москва, Б-64, ул. Чкалова, д. 38—40, Госюриздат.

Кисилев Яков Семёнович
«Началось с проступка...»

Редактор В. М. Чикул

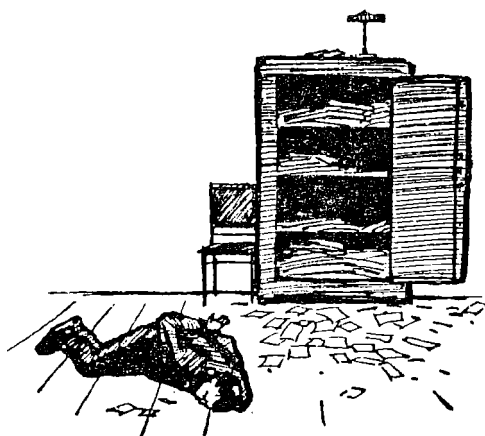
Художник-оформитель Б. П. Кыштымов. Художественный редактор И. Ф. Федорова
Технический редактор С. Н. Косарева. Корректор Н. П. Визгина.

Сдано в набор 26/V—1958 г. Подписано в печати 23/VII—1958 г. Формат бумаги 84×105¹/₂
Объем: физ. печ. л. 1,00; услови. печ. л. 1,64; учетно-изд. л. 1,79. Тираж 75 000.
А-06525. Цена 40 коп. Заказ №1922.

Госюриздат, Москва, Б-64, ул. Чкалова, 38-40

Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Московского городского Совнархоза.
Москва, Ж-54, Валовая, 28.

Отпечатано с матриц в Калужской типографии областного управления культуры,
пл. Ленина, 5. Зак 109



С

тарику-вахтеру явно хотелось, чтобы в нем чувствовалась «военная косточка», и поэтому с излишней горячностью он уверял, что нисколько не струсил, нисколько! А струсить было бы и не грех.

Ночью, когда вахтер больше для порядка, чем по необходимости, обходил Институт, он заметил свет, пробивающийся через дверную щель из комнаты, где стоял сейф. Решив, что кто-нибудь из сотрудников забыл выключить свет, вахтер, не принимая никаких мер предосторожности и даже не глуша своих шагов, подошел к двери, спокойно открыл ее...— и в то же мгновение свет в комнате погас и что-то тяжелое обрушилось на его голову.

Когда вахтер пришел в себя, то почувствовал, что лежит связанным на полу. Он застонал. В темноте к нему подошли какие-то люди, перевернули его лицом вниз и, приказав молчать, отошли. Единственное, что он мог в этом положении заметить, был свет карманного фонарика, мелькавший в той стороне, где стоял сейф. Спустя минут 15—20 послышался скрип открывшейся дверцы. Выбирая из сейфа деньги, грабители о чем-то тихо переговаривались.

Затем они еще раз приказали ему молчать и ушли. Вахтер был связан настолько крепко, что так и не освободился до утра, когда его обнаружила уборщица.

Никаких примет грабителей сообщить он не мог. Разве только то, что их было не меньше четырех и что, обращаясь к одному из них, остальные звали его «Князь». Судя по всему, Князь и возглавлял шайку. Для обнаружения преступников этого было мало.

Но помогла случайность. Впрочем, «случайность» нередко помогает тем, у кого внимание постоянно напряжено, тем, для кого раскрытие преступлений действительно составляет смысл и цель жизни. И таким был Сергей Терентьевич Лобанов, работник отдела уголовного розыска.

Дня через четыре после ограбления Института Лобанов в трамвае услышал, как стоявший на задней площадке вагона подросток крикнул:

— Князь, сюда, сюда!

Шедший по панели рослый юноша, лет 17, с красивым и не по возрасту уверенным лицом, кивнул головой в знак согласия и побежал к трамваю.

Князь! — вспомнилось Сергею Терентьевичу. Не так уж часто встречаются такие клички.

Тот, кого звали Князем, без видимых усилий догнал трамвай и, не принимая помощи позвавшего его подростка, ловко вскочил на ступеньки вагона.

У Князя, очевидно, были свои дела, и поэтому минуты через три на перекрестке двух улиц он соскочил с трамвая. Следом прыгнул с трамвая и Лобанов. Он дотронулся до плеча юноши.

— Мне нужно переговорить с вами.

Князь небрежно окинул взглядом Сергея Терентьевича и с усмешкой проговорил:

— А вы бы спросили, хочется ли мне с вами разговаривать.

— Нужно! — сказал Сергей Терентьевич. — Не взыщите, Князь, нужно!

— Ах, вот оно что! Так вы оттуда? — Князь кивнул головой в ту сторону, где находилось Управление милиции. — Теперь ясно! — И улыбнулся так широко и приветливо, словно большей радости, чем разговор с человеком «оттуда», он себе и не представлял.

Сергей Терентьевич с любопытством всматривался в спокойное лицо Князя, в котором ничто не выражало ни

испуга, ни волнения. Некоторое время оба молча стояли на мостовой. Мимо них, преграждая дорогу, проходила длинная колонна грузовиков. Не меняя выражения лица и по-прежнему улыбаясь, Князь неожиданно с большой силой ударил Сергея Терентьевича в грудь, тут же подставив подножку. Лобанов рухнул на мостовую, едва не угодив под колеса проезжавшей автомашины.

Когда он поднялся на ноги, Князь, выгадавший несколько секунд, бежал по направлению к Михайловскому саду. Сергей Терентьевич кинулся в погоню, рассчитывая, что на людной улице в разгар весеннего дня прохожие помогут ему задержать преступника. И действительно, наперез бегущему бросилось несколько человек. Один из них догнал было Князя, но тот выхватил из кармана пистолет и, не целясь, выстрелил. Догонявший успел упасть, и это спасло его. Князь добежал до входа в сад и свернул в него. Лобанов стрелять не решался: в саду было много детей. Князя попытался задержать сторож, вооруженный садовой лейкой, но Князь снова выстрелил, и сторож отпрянул. Испуганные выстрелом ребятишки метались по саду, крича и плача, невольно задерживая Сергея Терентьевича. Свернув на боковую аллею, Князь опрокинул девочку лет четырех. Толчок был так силен, что девочка, не вскрикнув, упала и осталась лежать на земле.

И тут навстречу бегущему вышла старенькая, маленькая женщина и загородила ему дорогу.

— Ты что делаешь? — спросила она тихо, но очень строго. — Ты что делаешь? Детей калечишь?

И столько было в этих немногих словах сурового осуждения и презрения, столько глубочайшей уверенности в своем праве судить человека, который не остановился перед тем, чтобы сделать зло ребенку, что когда она, не двигаясь, стояла перед Князем, он задержался, не решаясь не только стрелять, но даже оттолкнуть ее. Еще одна-две секунды, и он бы справился со своим невольным, но непреодолимым уважением к спокойному бесстрашию этой маленькой женщины, справился бы и вновь бросился бежать, но было уже поздно. Его настигли, отобрали пистолет и уже крепко держали.

В отделе уголовного розыска он назвал себя: Князев Виктор Адрианович, 17 лет, ученик 10-го класса. Соученики называют его, сокращая фамилию, Князь. Сведения о себе он дал правильные, но больше ничего добавить не захотел, хотя от ответов не отказывался. Держал себя Князь так,

точно на него лился свет десятка юпитеров и каждый его жест увековечивали киноаппараты, а всякое слово ловили магнитофоны, чтобы тут же все, до мельчайшей детали, передать тысячам взволнованных, мучающихся любопытством зрителей. Князь то менял улыбки — от презрительной до снисходительной, то изображал удивление, то демонстрировал оскорбленность, шеголяя отточенной вежливостью, чеканил слова и в драматических местах эффектно умолкал. Он все время играл, изображая некоего рыцаря плаща и кинжала, который не доступен ни страху, ни волнению и наделен железной волей.

Князь играл день, второй, третий и все сильнее чувствовал, как ему не хватает зрителя. Павел Степанович Никонов — следовательно, которому поручили вести дело Виктора Князева, — в зрители нисколько не годился. Его немного отечное лицо казалось маловыразительным, и вид у него был такой, точно вот-вот скажет: «Конечно, скучная у меня работа, но что поделаешь, нужно же кому-нибудь ее делать!» Что и говорить, Павел Степанович был, бесспорно, не из тех, кто мог бы оценить всю романтичность поведения Князя, ожидавшего, что лучшие силы уголовного розыска будут брошены на то, чтобы изобличить его, что самые опытные и прославленные следователи вступят в соревнование: кто же из них сумеет раскрыть шайку Виктора Князева? А тут... Князь был оскорблен самим выбором следователя, было похоже на то, что его дело считают чем-то рядовым, никакого особого значения ему не придают.

Князев не скрывал своего иронического отношения к Никонову, но тот как будто этого не замечал. Павел Степанович не возмущался, не выказывал нетерпения, не испытывал даже раздражения. Хуже и обиднее всего было, что он не проявлял никакого интереса к тому, как вел себя допрашиваемый.

А Князь, поигрывая голосом, грозил, что «они» еще ответят за его незаконный арест, заявлял, что он возмущен и что если он убегал, то неужели «им» невдомек, что бежал он только из чувства протеста — какое имеют право задерживать ни в чем не повинного человека, а толкнул он Лобанова инстинктивно; стрелял же для того, чтобы привлечь внимание к незаконным действиям работника уголовного розыска, а что касается пистолета, то он его нашел и как-то не собрался сдать, хотя это, пожалуй, и следовало сделать.

Павел Степанович все это выслушивал молча, не пере-

бывая, потом, выждав паузу, скучным голосом человека, притерпевшегося к несусветной чепухе, которую несут запирающиеся преступники, спрашивал, словно отдавая Князева на его собственный суд:

— Записать?

И в этом «записать» Князев каждый раз явственно слышал: «Конечно, ты мелешь вздор, но это твое дело; я запишу все, что ты сказал, а ты уже потом сам расхлебывай!». В этом «записать» не было угрозы, не было даже презрения, а было нечто такое, что сильнее всего действовало на Виктора Князева, школьника 10-го класса; в этом «записать» было искреннее удивление: «Как это можно так на свой счет обошлаться, чтобы не видеть собственной дурости». И каждый раз, услышав это «записать», Виктор терял свою самоуверенность и вместо восхищенной публики видел перед собой только человека, который привычно преодолевал естественное отвращение к выкрутасам. Сохранять позу и изображать окутанного тайной героя делалось все труднее.

Но тяжелее всего было Князеву не на допросах. Да они и недолго длились. В камере, наедине с самим собой, он не мог совладать со страхом, себя он не мог обмануть, он страшился расплаты, понимал, что «штучками» не вывернешься, что все раскроется. Но сильнее страха его мучила мысль, которую он гнал от себя и прогнать не мог: за один год, за один только последний год так чудовищно изменилась его жизнь. Когда это началось? С чего?

А на четвертом допросе произошло нечто такое, чего никак не ожидал Князев. На предыдущих допросах его ни разу не спрашивали об ограблении Института, и он начал думать, что о его участии в этом и не догадываются. Но вот Никонов спросил, где он был в ночь на шестое мая? Ночь на шестое — ночь ограбления: значит, знают. Нужно держать ухо востро. Он уже стал изображать удивление, как вдруг ему пришла в голову великолепная мысль.

— Если вы настаиваете, я могу сказать, где я был,— очень спокойно произнес Князь.— Я был у моей знакомой.

Павел Степанович молчал. Он не спросил, как фамилия этой знакомой и где она живет. А ведь он должен был спросить. Именно в расчете на то, что он спросит об этом, и сказал Виктор о знакомой. Весь блеск и все великолепие ловкой увертки так и не будут обнаружены, если следователь не спросит того, что должен спросить. А он не спрашивал. Тогда Виктор все же не смог удержаться и сказал:

— Не спрашивайте меня о ней. Это бесполезно. Я смогу ее назвать, если только получу ее согласие. Иначе это было бы не по-джентльменски.— И явно довольный сказанным, Князь весьма учтиво осведомился:

— Вас это удовлетворяет?

Павел Степанович не ответил. Впервые за все четыре допроса он откровенно и как-то неприкрыто внимательно разглядывал Князева, а потом сказал, словно огорчился:

— Да-а! Вот оно что оказывается...

Князь рассердился.

— Мы с вами не разговоры разговариваем, мы — на допросе. Вы почему не записываете? — почти кричал Князев.— Другого ответа не будет. Записывайте!

Но Никонов ничего не записывал. Он вынул из кармана листок бумаги, мельком взглянул на него и передал Князеву:

— Прочитайте!

Князев, недоумевая, стал читать. Там было написано: «Я спрошу Князева, где он был в ночь ограбления. Он непременно ответит, что был с каким-то человеком, но имени его открыть не желает: рыцарь!» Виктор почувствовал, как краснеет от досады, от стыда и еще от какого-то не до конца осознанного чувства.

— Как вы догадались? — против своей воли спросил он.

— Из десятка жуликов, извините, девять вот так и отвечают. Угадать, как видите, не трудно,— пояснил Павел Степанович, и в голосе его было не торжество, а скорее сочувствие и сожаление.

Виктор смотрел на него и не узнавал. Веселые, с лукавинкой, с дерзкой смешинкой глаза больше не прятались за опущенными веками. Виктор вдруг увидел, как выражение глаз меняет лицо: было оно сейчас у Павла Степановича твердым, умным, насмешливым и вместе с тем открытым. Даже Князь, юноша малого опыта и немногих житейских знаний, и тот понял: Никонов — человек большой и круто прожитой жизни. И таким маленьким, ничтожным, таким жалким увидел сам себя Виктор, что его охватило то чувство, приближение которого он все острее ощущал,— его охватила боль от сознания, что жизнь его шла и идет неправильно...

Павел Степанович подвинул к Виктору невысокую стопку бумаги и сказал, впервые обращаясь к нему на «ты»:

— На, Виктор, пиши!

— Нет,— ответил Князев,— мне легче рассказать.



Все началось за год до ареста. Шестнадцатилетний Витёк Князев пользовался большим авторитетом в своем 9-м классе, к нему прислушивались, с ним считались. Да и не могло быть иначе: бойкий, смывленный, самоуверенный, он умел подчинять себе других. Ему прощали стремление верховодить, вероятней всего потому, что с ним всегда было интересно: Витёк обладал живым воображением и небезопасным свойством верить в то, что сам выдумывал.

В январе, вскоре после каникул, Витёк под клятву открыл своим ближайшим друзьям — Гаре Бугрову, Володе Кулагину и Жене Кислицыну — ошеломляющую тайну. Он так горячо в нее верил, так был взволнован и захвачен ею, что друзья почувствовали бы себя предателями, если бы хоть на секунду отнеслись к ней с сомнением.

Вчера вечером, рассказывал Витя, он нашел в почтовом ящике бумажку, написана она была от руки, но печатными буквами. Витёк прочел первую строчку и собрался было выбросить бумажку, такая в ней была муть. Но какое счастье, что он не поддавался первому впечатлению! Он прочел все, до конца, и — он не будет хвастать — сначала ни о чем не догадался. Но вдруг его словно что-то «стукнуло», и все стало ясно.

Записка была такая:

«Не размыкайте святой цепи, не гасите света, воссиявшего в ночи, не преграждайте пути потоку благочестия, перепишите десять раз записку и, осенив себя крестом, передайте дальше...» Казалось бы, такая чепуха не стоит и внимания. Но на то записка и была рассчитана: не дочитают ее и выбросят те, от кого и прячут ее тайный смысл. В том-то и дело, что дальше написано самое главное, ради чего все это затевалось и что было предназначено для одного из всех.

Витёк оглядел своих дружков и медленно, давая возможность вникнуть в содержание текста, прочел: «...С верою преклоните колена перед пресвятой матерью божьей и воздастся вам».

— Понятно? — спросил Витёк.

И Гаре было стыдно, и Володе было стыдно, и Жене

тоже, но скрывать они не стали: они ничего не поняли и ничего особенного в записке не увидели. Витёк, сияющий от своего открытия, был так великодушен, что не захотел огорчать их презрением. Он обнаружил такую остроту и глубину проникновения в шифры и многомудрые хитросплетения неизвестных, что вызвал бурный восторг всех трех слушателей. Витёк разъяснил, что уже давно известно — так он и сказал, как говорят о совершенно достоверном, — уже давно известно, что в Ленинграде, когда он был еще Петербургом, в одном из соборов был спрятан клад, но в каком — тщательно скрывалось. А сейчас запиской об этом кому-то втайне подается весть. Вникайте! «Пресвятая мать божья» — это ведь и есть адрес. Витёк справлялся у старушки-няни — она насчет церквей сведущая, все знает, — она и объяснила: Казанский собор сооружен во славу Казанской божьей матери. А «преклоните колена» — значит внизу, в подzemелье! Теперь все ясно? Итак, тайный сигнал перехвачен! Нужно торопиться, чтобы раньше, чем те, к кому должен был дойти сигнал, проникнуть в подzemелье Казанского собора и завладеть кладом. Но только это должно быть абсолютной тайной!

* * *

Они были разные — Гаря, Володя и Женя.

У Игоря Бугрова — его в школе называли Гарей — глаза были всегда чуть-чуть печальными. Отец у него погиб на фронте. Мать, контролер Ленэнерго, уходила рано утром и до вечера бегала по квартирам, снимая показания счетчиков и выписывая счета. Возвращалась домой усталая, раздраженная, тратила остатки сил на хлопоты по хозяйству и, как это иногда бывает, сердилась на Игоря именно за то, что не могла ему дать всего того внимания, заботы и любви, которыми ей так хотелось его окружить. Когда Игорь был весел, ей казалось, что он не понимает, как ей трудно. Когда он был хмур, она готова была видеть в этом безмолвный упрек ей. В маленькой семье всегда были немного напряженные отношения. И мать и сын как-то не умели проявить той любви, которую, несомненно, чувствовали друг к другу: мать словно боялась, что от ласки ослабеет, а сын, не понимая матери, приучил себя не высказывать нежности.

Игорь делал все, что мог, по дому, неплохо учился, много читал. Он был отнюдь не глупее Виктора Князева и превосходил его, пожалуй, в подлинной силе воли, но его

тянуло к Витьку, который был как бы олицетворением той беззаботности, праздничности, легкости, которых Игорю не хватало в семье. Возле жизнерадостного, беспечного, брызжущего весельем Витька ни о чем мрачном или даже грустном как-то не думалось.

Предложи кто другой пойти отыскивать клад в подземелье Казанского собора, Игорь легко заметил бы всю нелепость этого плана, но когда предлагал Витёк, — все менялось. И не в кладе, конечно, дело, а в приключении, в той смеси из тревоги, ожидания и отваги, которой словно ополл его Витёк. И Игорь согласился.

Володя Кулагин был самым сильным мальчиком не только в классе, но и во всей школе, а также самым невозмутимым, самым добродушным и, пожалуй, самым нелюбопытным. И не то, что самым ленивым, но ленивым несомненно. Он делал только то, без чего уж никак нельзя было обойтись. Но делал солидно и увесисто. Нужно выучить урок — выучит, основательно выучит, но ни одной строчкой больше заданного. Скажут ему: выучи «Евгения Онегина» до сцены дуэли, — выучит, но дочитать главу, чтобы узнать, чем кончилась дуэль Онегина с Ленским, — не дочитает. Среди немногих жизненных правил, которых он придерживался, было такое: «Товарищ — это товарищ». Означало оно примерно следующее: думать мне самому, как убить время, — лень, решать что-либо — тоже лень, но если уж имеется товарищ, то куда он, туда и я, как он, так и я, в беде не оставлю, не подведу. Витёк был ему товарищем; сказал Витек: «в Казанский» — ладно, пойду в Казанский; сказал бы: «в кино» — тоже можно, хотя бы уже дважды смотрел фильм.

В классе его любили, учителя относились к нему хорошо. А дома — дома он не имел, хотя этого и не сознавал. Отец ушел из семьи, когда Володе было пять лет, и с тех пор отец и сын ни разу не виделись. Мать вскоре вторично вышла замуж. Отчим относился к Володе ровно, спокойно, с доброжелательным равнодушием. Мать была захвачена новым чувством и радовалась, что Володе не требуется никаких забот: растет и растет себе. А когда родилась девочка, а потом и мальчик, то им так много нужно было заботы и ухода, что на долю Володи ничего не оставалось. И он привык к мысли, что так и должно быть. Володю никто не притеснял, не обижал, ему мимоходом даже ласковые слова говорились, и за все это он должен был делать

только одно: не требовать к себе внимания. Что ж, это устраивало и Володю. По крайней мере так ему казалось.

Третий из дружков, Женя Кислицын — худенький, задиристый, большеглазый паренек — втайне очень страдал потому, что на левой руке у него срослись пальцы: указательный со средним, а мизинец с безымянным, и рука была похожа на ласт. Оттого, что он худенький, да и ростом не вышел, а тут еще рука, Жене все время хотелось выказать свою удаль, доказать, что он не хуже других. Кому-кому, а Жене было просто невозможно даже намекнуть друзьям, что ночное приключение ему не по душе.

Друзья разработали подробный план проникновения в подземелье Казанского собора и поисков клада. Все было оговорено, продумано, взвешено: где встретиться, какой инструмент прихватить, как проникнуть незамеченными в подземелье и даже куда и как перенести клад. Оставался пустяк: отыскать его. Но ни у кого из друзей не было сомнений в успехе.

В ночь на 3 февраля поход состоялся. Все удалось на славу. Из дому выбрались беспрепятственно, возле места сбора никого постороннего не было, в подземелье пробрались так, словно на каждом была шапка-невидимка, ничего из инструментов не забыли. В подземелье оказалось так много грязи и плесени, что было совершенно ясно: никого до них здесь давно-давно не было. Значит, клад на месте! Впрочем, этот вывод, кажется, оказался преждевременным.

Три часа трудились, не щадя усилий, кладоискатели. Все подземелье обшарили, все выстукали, все высмотрели, и обнаружилось, что «воссиявшая в ночи» записка врала, никакого клада не оказалось. Володя был меньше всех склонен к переживаниям, вроде разочарования, смущения, боязни насмешек, и поэтому он, здраво рассудив, что они, не найдя клада, все же ничего не потеряли, предложил отправляться восвояси.

Кладоискатели выбрались из подземелья хоть и обескураженные неудачей, но еще взволнованные приключением. Когда они проходили мимо памятника Екатерине II, Витёк вдруг остановился, подошел к нему и, как бы возмещая урон, нанесенный его авторитету, ловко взобрался на высокий цоколь и выпрямился, застыв возле фигуры Суворова. Витёк стоял и как будто своим видом показывал, что он, наконец, нашел свое место! Уже собираясь спускаться, он дотронулся до эфеса шпаги Суворова — она чуть дрогнула. Витёк попробовал, — да, она не закрепле-

на,— и тогда резким движением он выхватил ее, взмахнул, рассекая воздух, и торжествующий спустился, не выпуская шпагу из рук.

— Зачем это ты? — спросил Игорь.

— Здорово, Витёк, получилось! — одобрил Володя, и это было ответом Игорю.

Витёк протянул шпагу и сказал, не то дурачась, не то серьезно: «Клянитесь!» Мальчики положили руки на шпагу, положил руку и Игорь. И хотя никакой клятвы не было произнесено, все же их что-то не так, как всегда, соединило, и не только не совсем обычное, но и не совсем хорошее, что они скорее чувствовали, чем понимали. И если хотя бы один из них предложил тогда поставить шпагу на место; она, по всей вероятности, была бы возвращена Суворову, и жизнь каждого из этих четырех друзей, стоящих на пороге юности, пошла бы совсем по иному пути. Но никто этого не предложил.

Они унесли шпагу Суворова и условились, что храниться она будет у того, кто проявит бесстрашие и ловкость. Шпага Суворова — переходящий приз за отвагу! Эта мысль им пришла по вкусу. Витьку — первому хранить шпагу. С этим все были согласны.

* *
*

Жене Кислицыну удалось под утро пробраться к себе домой, не потревожив ни родителей, ни соседей. Вечером того же дня он спросил у отца, вернувшегося с работы:

— Папа, чьей работы памятник Екатерине?

— По-моему, Микешина, — не очень уверенно ответил Никанор Петрович.

Через несколько минут Женя спросил:

— А что, этот памятник большим произведением искусства считается?

— Дался тебе этот памятник! — рассердился Никанор Петрович.

Больше к разговору о памятнике не возвращались. Жене было не по себе. Он совсем не испытывал уверенности, что вчера ночью они поступили правильно. И надо же было Витьку забрать шпагу не у кого иного, как у Суворова, у самого любимого полководца. Мало там было понаставлено разных придворных! Вряд ли мог Женя рассказать словами то, что он чувствовал, но его не покидало ощущение, что вчера что-то большое и хорошее, что душе

всего беречь нужно, они потеряли. Забрать шпагу у Суворова,— да это вроде того, как оскорбить его, оскорбить народную гордость. Нехорошо получилось. Но что делать? Этого Женя не знал.

Прояви Никанор Петрович большую чуткость, задумайся он над тем, почему вдруг Женя заинтересовался памятником, найди он простой и дружеский тон — и смятенный, огорченный, не знающий, как помочь себе и товарищам, Женя не выдержал бы и все рассказал отцу. Тот нашел бы легко напрашивающийся, естественный выход (для Жени, конечно, это было несравнимо труднее), шпагу бы водворили на место... Но отец ничего не спросил у сына.

Как много может иногда изменить в судьбе человека крупница внимания...

Если бы сказали Никанору Петровичу Кислицыну или его жене Марии Гавриловне, что они совсем не знают своего сына, что они недостаточно внимательны к нему, они были бы до глубины души возмущены. Это они-то невнимательны! Мало того, что они делают все, что от них зависит, чтобы Женя ни в чем не нуждался, мало того, что они регулярно следят за его занятиями, и не только дома: они и в школу не меньше двух-трех раз в году ходят справляться о сыне,— Никанор Петрович еще время от времени наставляет Женю уму-разуму. Уравновешенно, с подобающей случаю медлительностью, как бы подчеркивая каждое слово, чтобы значительность его была виднее, вел он назидательные беседы с сыном, доказывая, что он, Никанор Петрович Кислицын, прожил всю жизнь честно, в строгих правилах и что по сему ему раскаиваться не в чем; если Женя так же жизнь проживет,— обнадеживал отец сына,— то и ему не в чем будет раскаиваться. Никанор Петрович не менял в своих наставлениях ни интонаций, ни слов.

Когда Женя был маленький, ему очень нравилась последняя фраза в назиданиях отца, в ней было так много «ж-ж-ж», что мальчику казалось: папа жужжит, а не говорит, и это было забавно. Но когда Женя подрос, это перестало его развлекать.

Конечно, и мысли и побуждения Никанора Петровича достойны всяческого одобрения и уважения, но принести они никакой пользы не могли. Беда в том, что Никанор Петрович не допускал мысли, что сын, его сын, может думать и чувствовать иначе, чем он сам, что сына может что-либо привлекать или отвращать иное, чем то, что нравится или не нравится ему, взрослому человеку.

У него никогда не возникало желания установить с Женей добрые, крепкие товарищеские отношения, он был убежден, что товарищеские отношения между отцом и сыном вредны, что они сводятся к потаканию недостаткам и ни к чему хорошему привести не могут. Нет, воспитывать нужно по-иному — в строгости. Справедливо, но строго. Если шалость не пресечь в зародыше, потом беды не оберешься. Лучше преувеличить вред от шалости, чем преуменьшить. Излагая все эти мысли Марии Гавриловне и приучая ее к строгому обращению с сыном, Никанор Петрович ни разу не дал себе труда подумать, а в какой мере все эти педагогические приемы соответствуют характеру Жени?

Когда Женья года три тому назад рассказал дома, что он нарочно посадил кляксу в школьном журнале, чтобы нельзя было разобрать отметку, Никанор Петрович в педагогических целях настолько преувеличил тяжесть проступка, нарочито расценивая его как мрачное, едва ли искупимое преступление, такие громы обрушил на голову Жени, что результаты наступили совершенно для Никанора Петровича неожиданные: раскаяния в Жене он не вызвал, а вот убеждение, что отец несправедлив и что с ним не следует быть откровенным, — такое убеждение у Жени возникло. Но об этом Никанор Петрович не догадывался. Поэтому-то он и не услышал рассказа о шпаге.

Виктору Князеву история со шпагой тоже все больше и больше не нравилась, но совсем по другой причине — куда ее деть? Мама, Елена Николаевна, и домработница Феня — просто непереносимые чистюли! По несколько раз на неделе они заглядывают во все углы и закоулки большой трехкомнатной квартиры: а вдруг где-нибудь осталась пылинка или соринка! И Феня все время если не подметает, то подчищает, а если не подчищает, то подметает. Поди, спрячь в этих условиях шпагу! За буфет ее сунуть? На шкаф положить? Под кровать? Все равно найдут. И тогда беда — отцу скажут. Адриан Семенович Князев хотя и не держал сына в строгости, но за шпагу Витьку попало бы основательно.

О полковнике Князеве все, кто его знал, говорили одно: везучий. В жизни Адриана Семеновича все складывалось легко и хорошо. Беда его обходила. Удача не превращалась в головокружительный успех, не возносила его очень высоко, но зато никогда не покидала. Исполнительный, свободный от зависти, в меру честолюбивый, он успешно

продвигался по службе. Он был постоянно в хорошем настроении и умел передавать его другим. Он старался никого не огорчать и, естественно, терпеть не мог, когда его огорчали. Особенно в семье. Адриан Семенович искренне хотел, чтобы в семье все шло хорошо, но при одном условии: чтобы ему не нужно было для этого прилагать никаких усилий. Он рассуждал примерно так: я, отец, все делаю, чтобы вам хорошо жилось, но вы, пожалуйста, меня ничем не огорчайте и не подводите.

Елена Николаевна это условие свято соблюдала. И не по обязанности, а, так сказать, по зову сердца. Ничего страшнее, чем огорчение мужа из-за какой-нибудь домашней неурядицы, она себе и представить не могла. «Адриан много работает, устает на службе, ему необходимо, совершенно необходимо, иметь дома абсолютный покой, здесь он должен набираться сил, а не тратить их» — такова была несложная, но непоколебимая семейная философия Елены Николаевны. И если бы что-нибудь огорчило дома Адриана Семеновича, она себе этого не простила бы, как, впрочем, — это она достаточно хорошо знала — ей не простил бы этого и Адриан Семенович. Это был дом, где не любовь, не привязанность, не общность интересов, а стремление к удобству цементировало семью.

Это угадывал, а потом и понял Виктор. Если он допускал какую-либо провинность, то Елена Николаевна куда больше, чем он сам, боялась, что о ней узнает Адриан Семенович и, не приведя господи, огорчится. И не Виктору нужно было упрашивать мать ничего не говорить отцу, — Елена Николаевна сама заклинала сына утаить от отца правду. Когда Виктор подрос и проделки стали злее, «родителей ученика Виктора Князева» стали частенько приглашать в школу. Елена Николаевна, скрывая все от мужа, шла к директору, просила, умоляла, настаивала; она доказывала, что Адриан Семенович занят сейчас неотложной, большой и важной государственной работой, ему сейчас нужно напряжение всех сил, и если именно теперь, в такой неподходящий момент рассказать ему о возмутительном поведении сына — она согласна, оно действительно возмутительно — это значит вывести Адриана Семеновича из душевного равновесия, сорвать важнейшее дело, и она просит простить Виктора не ради него самого, а ради интересов, куда более значительных. Она говорила об этом так горячо и убедительно, что директор в конце концов уступал ей.

Витёк очень скоро разобрался в нехитрой маминой стратегии, разобрался и одобрил. Она сулила ему безнаказанность. Но со шпагой дело обстояло совсем по-иному, и Витёк это понимал. Елена Николаевна обязательно бы рассказала мужу о шпаге, если бы нашла ее дома. Тут Елена Николаевна не взяла бы на себя решение вопроса: ведь если ошибиться, то можно поставить под угрозу служебное положение Адриана Семеновича. Словом, нельзя допускать, чтобы шпагу нашли дома. Но куда ее деть?

И Витёк нашел выход. В соседнем дворе, где был каток и куда часто ходил Витёк, находился большой сарай. Работники магазина, черный ход из которого выходил в этот двор, то вкатывали, то выкатывали из сарая пустые бочки. Уходя, они вешали на двери большущий замок, но Витёк знал, что проникнуть в сарай совсем нетрудно. Между сараем и глухой стеной дома был узкий проход, и здесь Витёк, еще когда играл в прятки, обнаружил, что одна из досок, которыми был обит сарай, легко отдиралась и через лаз можно было проникнуть в это хранилище бочек. О сарае и вспомнил Витёк, ломая голову над тем, куда спрятать шпагу.

Он пробрался в сарай, где его ждала приятная неожиданность: в одном из углов была свалена груда старых, слежавшихся, ни на что не годных рогож, которые наверняка никому никогда не понадобятся. Сунуть под них шпагу — самое надежное дело. Так он и сделал.

Но, спрятав шпагу, Витёк от нее не избавился. Ведь хранить шпагу имел право только тот, кто совершит какой-нибудь смелый, необычайный поступок. А ничего такого, где можно было показать себя во всем блеске, не подворачивалось.

Никаких разговоров о шпаге друзья больше не вели, как будто ее и не было, и это было верным признаком, что ничего хорошего или даже забавного они в этой истории не находят. Шпага должна была стать призом за отвагу, а оказалось, что, находясь под рогожами, она колола и ранила самолюбие Витька. Нет, он этого не потерпит. Он придумает еще нечто такое, что друзья ахнут и скажут, как раньше говорили: «Витёк, вот это ты здорово!» Но что придумать?

На шестой день после похищения шпаги в школу во время большой перемены пришел капитан милиции. Затем к директору вызвали Владимира Кулагина. Когда Володя, скрывая тревогу, пошел к директору, остальные трое друж-

ков все обсудили, и им стало ясно, почему начинают с Володи. Он ничего придумать не сможет, ему ни за что не вывернуться, расчет правильный! Витёк шепнул Жене и Гарю:

— Вы здесь ни при чем, так и держитесь! Я возьму все на себя!

— Ну, вот еще! — ответили они. — Нашел хлюпиков! За чужую спину нырять не станем. Как было, так и скажем.

А Володя тем временем сидел в кабинете директора, долго сидел. Или, может быть, им только так казалось. Звонок! Пора в класс. А Володя все еще у директора.

Когда начался урок, в класс вошли директор школы, капитан милиции и непривычно растерянный, вконец смущенный, не знающий, куда себя деть, Володя. Извинившись перед преподавателем, директор сказал, что он счел необходимым просить капитана сделать свое заявление о поступке Владимира Кулагина перед всем классом. Витёк взглянул на Гарю, перевел глаза на Женю — неужели и у него такой же вид? Возможно! Ой, как нехорошо!

Капитан подтянулся, принял официальный вид и заявил, что он явился сюда по поручению начальника городского управления милиции, чтобы сообщить следующее. Два дня тому назад, вечером, Владимир Кулагин, направляясь к своему товарищу, обнаружил, что в доме, где тот жил, дверь квартиры во втором этаже приоткрыта. Заглянув, он увидел, что какой-то человек связывает в большой узел белье. Поведение этого человека показалось школьнику подозрительным. Он обратился к нему с требованием объяснить происходящее. В ответ на это вор выхватил нож и набросился на Кулагина. Владимир, проявив ловкость и отвагу, выбил нож из рук вора и задержал его. Начальник управления милиции объявляет благодарность Владимиру Кулагину за достойный и смелый поступок. Для вручения приказа и явился капитан в школу. В присутствии всего класса он рад передать благодарность отважному юноше.

Весь класс с восторгом и завистью смотрел на Володю. Завидовал ему и Витёк. Может быть, и он бы не струсил и поступил, как Володя. Но смолчать об этом? Никому не сказать? Непостижимо! Это больше всего и поражало Витька. Да и не его одного в классе. Непонятный характер у Володи...

Хотя и завидовал Витёк товарищу, но это была хорошая зависть, в ней была естественная в юноше тоска по

подвигу. Зависть не мешала Витьку быть справедливым. Хранить шпагу он больше не может, ее нужно передать Володе, он заслужил это право. Вероятно, и Гаря, и Женья, да и сам Володя о шпаге бы и не вспомнили. Но Витёк помнил. Крепче других помнил. Едва стемнело, он пролез в сарай и обмер: рогож не было, не было и шпаги. Витёк, понимая, что поиски напрасны, все же искал ее, искал и, конечно, не находил. Как быть? Ведь не спросишь! Не потребуешь вернуть! Нашли, забрали, да еще, наверное, насмеются. Вот теперь, когда шпаги не было, Витьку стало казаться, что без нее ни за что не обойтись.

Вдруг он услышал, как взялся с замком у двери сарая. Он еле успел выскочить, но остался около лаза: авось, что-нибудь услышит и это наведет его на след. Внутри кто-то приказывал очистить весь сарай и подготовить его для хранения продуктов. И добавил уходя: «Может, тут еще что годное найдешь, скажешь».

Витёк выглянул из-за угла и узнал того, кто ожидал новых находок. Это был директор магазина. Он шел по двору, не чувствуя, что Витёк провожает его взглядом, полным ненависти. «Еще что-нибудь найдешь...» — значит нашел уже! Ясно, шпага у него. И ничего не сделаешь. Бессилие приводило Витьку в ярость. Он едва ли мог объяснить себе, в чем же виноват директор, но это ничего не значило, шпага у него, и этого достаточно.

Когда вечером того же дня все четыре дружка собрались и обсуждали, счастливо смеясь, как здорово они праздновали труса, увидев в школе капитана милиции? Витёк поведал им о пропаже шпаги. В первую минуту ребята даже обрадовались, но Витёк с таким жаром, весь пылая негодованием, расписывал им «неслыханную подлость» директора и как он смеялся над тем, у кого забрал шпагу, что гнев Витьки передался и ребятам. Шпагу не вернуть, тут ничего не поделаешь, но отомстить директору их святой долг. И они от него не отступят. Нужно только разработать план мести.

Вероятно, прошло бы несколько дней и они забыли бы и о шпаге и о мести, если бы не случайная встреча на следующий день с Фонарем. Почему и когда прозвали Федю Белова Фонарем, никто не помнил, но иначе его не называли. Исключенный из школы за неоднократные мелкие кражи, он не испытывал ни стыда, ни огорчения при встрече со своими бывшими товарищами; он охотно вступал с ними в беседы, давая с нарочитой туманностью по-

нять, что он пошел в «большое плавание» и принимает участие в таких делах, «что ты бы от страха позеленел, только услышав о них». И хотя ему почти не верили, кое за что осуждали и презирали, но любопытство он пробуждал, и от разговоров с Фонарем не отказывались.

Фонарь встретил во дворе, где был сарай, Витька и, показывая на замок, висевший на сарае, сказал:

— Видел?

Он сказал это так многозначительно, что Витёк было подумал, что Фонарь знает о шпаге. Но Витёк ошибся. Фонарю не терпелось поделиться только что полученными сведениями, которые чем-то его волновали: директор магазина приказал внести в сарай восемь ящиков.

— С чем бы ты думал? — перешел на шепот Фонарь. — Ни за что не угадаешь! Шоколад и вино!

— Ну, и что из того? — искренне недоумевал Витёк.

— Чудило! Экономия у него, понимаешь? Излишки! Ревизию ждет, пронюхал, вот и прячет шоколад и вино. Завтра ревизоры придут, поработают день-два, уйдут, не заглянув в сарай, а он все оттуда обратно в магазин перетасит и продаст.

— Так он... — Витёк не закончил, не решаясь сразу назвать человека, которого он почти не знает, вором.

— А ты как думал? Живет! — сказал Фонарь с оттенком зависти и уважения к оборотистому директору, сказал — и ушел, как бы давая понять, что не стоит тратить времени на разговоры с человеком, который не может сообразить простой вещи.

Теперь план мести был ясен. Завтра, когда начнется ревизия, они помешают директору скрыть излишки, и воруа попадетсЯ. Пусть бы уж скорее наступило это завтра.

Но на следующий день ревизоры не явились. Не явились они и на второй день. Значит, Фонарь соврал. А может быть, в сарае и нет шоколада и вина? Нужно проверить. Витёк пролез в сарай. Да, в ящиках был шоколад, было и вино. И то, что шпага Суворова досталась директору, который прячет от ревизии товары, приводило Витька, да и остальных троих, в ярость. Особенно возмутительным им почему-то казалось, что директор похищает не что иное, как шоколад и вино.

Женя заявил, что они будут последними ничтожествами, если не помешают этому хапуге украсть. С Женей все согласились и стали обсуждать, как они помешают хищнику. Они установят дежурство и будут непрерывно

следить за сараем. Как только директор станет выносить ящики, они поднимают тревогу,—и вор пойман. Ребята наперебой придумывали подробности поимки и живо представляли себе лицо директора, когда его «зацапают» с личным.

Но Володя, который уже по праву считался специалистом по поимке расхитителей, сказал:

— Бред! Вынесет так, что мы и не заметим. Ночью не очень подежурите!

С ним согласились и приуныли.

— А что, если мы...— Витёк сам себя оборвал.

— Что, что ты хотел предложить?— стали допытываться ребята.

— А что если мы...— повторил Витёк и после короткой паузы прибавил: вытащим шоколад из сарая, директор придет за ним, а его и...— Витёк присвистнул.

— Витёк!— только и мог сказать Игорь.

— Да нет, я не предлагаю,— смутился Витёк,— я просто так сказал. Но, черт возьми, как бы это вышло здорово: он приходит, ворюга, уверенный, довольный, руки потирает, барыши подсчитывает, все в порядке, никто не следит, зажигает свет и... дорого бы я дал, чтобы на его рожу в эту минуту взглянуть! Неплохо получилось бы, а?

— Нет, не так нужно,— сказал Женя, у которого разыгралось воображение.— Не так! Ящики должны быть на месте. Чтобы он ни о чем сразу не догадался. Подходит он, трогает ящик. Что это? Почему ящик такой легкий? Руки у него дрожат, пот его прошибает. Наконец, он вскрывает ящик — пустой! Нет, не так! На дне ящика одна плитка осталась. Вот он и лопнет от злости. Куда пойдешь? Кому скажешь?

— Знаете, что еще нужно сделать,— сказал Игорь.— Нужно будет оставить в одном из ящиков записку: «Не вздумайте заколоться шпагой!»

И ребята стали спорить о «технических» деталях, о способе и времени выноса шоколада, о том, как поступить с вином, и было похоже на то, что они не замечают, что речь идет о краже. Как ни странно, но они были далеки от мысли, что совершат кражу. Они так легко и невозмутимо обсуждали подробности именно потому, что имели в виду «мечь директору», и говорили так, как говорили бы о путешествии на плоту через океан — интересно, увлекательно, щекочет нервы, но совершенно несбыточно, в реальной жизни неосуществимо.

Так, споря о «технических приемах» выноса шоколада, они постепенно приучали себя к мысли о преступлении, незаметно для себя, но все глубже втягивались в готовность пойти на кражу, мало-помалу переставая ощущать недопустимость и преступность тех планов, обсуждение которых стало чем-то привычным. Как можно приучить себя к отравлению алкоголем или никотином, так и они, сами того не видя, шаг за шагом приучали себя к мысли, что ничего ужасного и недопустимого в краже шоколада нет. Не страшно и даже испытываешь приятное волнение, как если повиснешь над пропастью, но при условии, конечно, что ты прочно обвязан канатом и его держат крепкие руки.

Дней через пять Володя сказал:

— Чего языком молоть? Шоколада-то, может, уже и нет.

Витёк пошел в разведку и вернулся с плиткой шоколада — неопровержимым доказательством того, что все на месте.



И следствие и суд потом долго и старательно выясняли, как же случилось, что Володя, который несколько дней тому назад, рискуя собой, задержал вора, Гаря, Женья и Витёк, которые были исполнены искреннего гнева против директора именно за то, что он пытался украсть народное добро, которые, если бы им сказали, что они пойдут на кражу, люто возмутились бы поклепом, — как же случилось, что они все же пошли на это?..



Когда Витёк принес, а по существу украл, плитку шоколада, дружки, да и сам Витёк, немного смутились; пока он держал плитку в руках и все на нее смотрели, словно она чем-то отличалась от всех тех плиток, которые они видели до сих пор, подошел Фонарь и, сразу смекнув, в чем дело, сказал так, словно не только глазами, но и голосом подмигивал:

— О, черт! Нашли лаз! А я не мог. Молотки!

Слово «молоток» у Фонаря означало высокую степень похвалы, и Виктору было приятно услышать его.

— Возьмите меня в долю! — попросил Фонарь.

Отказать ему было как-то неловко. Сказать, что не собираются красть, — подумает, что сквалыжничают, боятся уменьшить свою долю. Он и не поверит, ведь плитка шоколада у Витька в руках! Сказать, что еще не решились, — засмеет.

И если каждый из четырех подростков до этой минуты был уверен, что кража не состоится, каждый не терял надежды, что что-нибудь да помешает ей, то сейчас... сейчас кража вдруг пугающе приблизилась, из очень неопределенного и потому не страшного будущего ворвалась в настоящее, пустые, щекочущие нервы разговоры превратились с внушающей страх быстротой и неотвратимостью в реальный план, в сговор на совершение преступления, тяжкого и ненужного. Каждый из них подавленно молчал. Каждому не хотелось показаться перед товарищами лучше, чем они.



Все то, что они чувствовали и думали, на суде было точно и ясно выявлено, и все же оставалось неясным, как могли они, ребята из трудовых семей, из советской школы — на момент раскрытия преступления они кончали 10-й класс, — как могли они не разглядеть всей ничтожности тех мотивов, которые толкнули их на кражу. Неужели они не понимали, как несоизмеримо тяжелей даже только готовность к совершению преступления, чем боязнь, что о них плохо подумает Фонарь, или желание показаться лучше товарищей!

Свою задачу суд видел не в том, чтобы официально правильными словами охарактеризовать их побуждения, а в том, чтобы показать, как может один, на первый взгляд не очень большой проступок привести к преступлению. И стыд не раз жег сознание подсудимых.



Фонарь оказался неоценимым помощником. То, что было неопределенным и даже наивным в прежних, до появления Фонаря, разговорах, в его предложениях принимало простые и удобоисполнимые формы. Фонарь не метил в атаманы, не лез вперед, не брал на себя какой-нибудь активной роли, наоборот, он не скрывал и даже под-

черкивал, что побаивается, подбивая тем самым ребят показать, что они-то не таковы. Он говорил, что ни на что другое не согласен, как только показать ребятам подвал, куда можно спрятать похищенное.

Его трусость возбуждала отвращение в каждом из его четырех соучастников, но вместе с тем как бы отрезала им путь к отступлению. Только не быть такими жалкими трусами, как он! И никто из них не подумал, что не бояться дурного поступка — это отнюдь не мужество.

Кража была совершена способом и приемами, разработанными Фонарем. Неожиданно случилось только одно: Игорь не пришел, и все было сделано без него.



Надежда Сергеевна, мать Игоря, на работе почувствовала себя плохо и раньше времени вернулась домой. Здесь ей стало еще хуже. Когда Игорь вернулся из школы, у матери был такой больной, измученный вид, что он так и застыл возле нее, терзаемый страхом и жалостью. Надежда Сергеевна то металась по постели, то затихала, впадая в забытие. Вызванный врач запаздывал, и Игорь не знал, чем помочь матери. Он гладил ее руку, прислушиваясь, не станет ли легче ее дыхание. Оно оставалось тяжелым. Была минута, когда Надежде Сергеевне как будто стало легче, она открыла глаза и посмотрела на сына таким понимающим и нежно-печальным взглядом, что у Игоря навернулись слезы. Ему казалось, что он виноват в болезни матери, что он чего-то недосмотрел, не оберег ее. Если бы он мог сказать маме, как она дорога ему! Все, все на свете он готов отдать, лишь бы ей стало легче.

Пришел врач. Он нашел у Надежды Сергеевны воспаление легких. Всю ночь дежурил Игорь у постели матери. И ни разу не вспомнил, что в эту ночь он должен был пробраться к сараю, чтобы вместе с другими похитить оттуда шоколад и вино. Только под утро, когда Надежда Сергеевна забылась в полусне, Игорь вспомнил и отогнал от себя эту мысль, не смея даже думать об этом у постели больной матери. В школу он не пошел, — не на кого было оставить Надежду Сергеевну.

К вечеру ей стало легче. Зашла соседка, и Надежда Сергеевна с покорностью обессиленного человека выслушивала ее болтовню. Рассказывая новости, соседка вдруг

спохватилась, что самую интересную новость она едва не забыла.

— Подумать только! Магазин в доме № 13 сегодня ночью обокрали! То есть не сам магазин, а сарай во дворе. Товара в том сарае, говорят, было видимо-невидимо. Подчистую все взяли. Такой переполох в магазине, описать невозможно. Пришли из уголовного розыска, привели собаку, говорят, следы свежие, непременно найдут...

Все это было рассказано при Игоре. Выйти из дому он не мог. Никто из товарищей к нему не приходил. Соседка продолжала болтать, но он уже не слушал. Он ясно представил себе, как собака-ищейка сначала приводит к Витьку, — он ведь чаще других бывал в сарае, — от Витьки собака ведет к Жене, потом к Володе, их всех арестовывают и ведут мимо его дома. Не сговариваясь, все трое отворачиваются, они не хотят смотреть на дом, где живет предатель, тот, кто откололся, оставив их одних в опасном деле. И Игорь, может быть, помчался бы к ним, чтобы положить конец неизвестности и узнать, что с ними, но Надежде Сергеевне опять стало хуже, и тревога за мать все оттеснила.

Ночью у Надежды Сергеевны температура понизилась, и утром Игорь пошел в школу. Первым, кого он увидел, был Володя. Игорь бросился к нему, но Володя, спокойный, добродушный Володя, окинул его таким взглядом, что у Игоря ноги прилипли к паркету. Вскоре пришли Витёк с Женей и подошли к Володе. Они вели оживленный разговор и Игоря не замечали. Кто же станет замечать труса и предателя?! Нет, они не имеют права так о нем думать. Он им сейчас все расскажет, и они поймут, что зря его осуждают.

Он все рассказал и, не думая о том, что говорит, стремясь избавить себя от подозрения, что он тайком увильнул от опасного дела, добавил:

— Вот увидите, как я буду себя вести в следующий раз!

— Хорошо! — сказал Витёк.

Так дали они согласие на совершение следующего преступления. А оно было не за горами.

Фонарю не понадобилось много времени, чтобы сообразить, как выгодно ему иметь дело с компанией Витьки, которая весь риск принимает на себя, а ему оставляет немалую долю «барыша», и он решил, что дружков не выпустит.

Хотя выяснилось, что Фонарь наврал про директора, что никакого хищения тот не задумывал, а шоколад и вино

были вынесены в сарай только потому, что была получена бо́льшая, чем обычно, партия товара и в магазине просто не хватило места, хотя Князев и понимал, что, не убедив его Фонарь, будто директор занимается хищением, никто из друзей не пошел бы на кражу, но все равно это не повело к разрыву с Фонарем. Да от него и не так-то легко было отделаться.

Когда участники кражи, узнав, что она раскрыта, трепетали от страха, ожидая разоблачения после того, как будет обнаружен погреб, где было спрятано похищенное, Фонарь «спас» их. Он рассказал, что успел продать одному человеку все похищенное, в погребе ничего теперь нет, концы в воду, и они могут быть спокойны. Вот он каков, Фонарь! Они его еще не знают. Он кое-что выручил за шоколад и вино, и, пожалуйста,— вот их доля.

Доля! Это ошеломило ребят. Женя не выдержал и ударил Фонаря. Тот подумал-подумал и, хотя явно был сильнее Жени, в драку не полез. Если Жене так уж хочется, чтобы его доля досталась Фонарю, так и быть, он его отказом обижать не будет. Только ему невдомек, для чего же тогда Женя крал? Или, может, он считал, что так, незаметно, между делом, тысячу плиток шоколада перемелет и сотней бутылок вина запьет? Фонарь так измывался над Женей, так откровенно презирал его, такого видел в нем жалкого недотепу, что Виктор без слов взял свою долю, за ним взял и Володя.



Следствие и суд проанализировали весь печальный, а вернее, мерзкий путь Виктора Князева и его сотоварищей, сидящих теперь на скамье подсудимых (кроме Федора Белова — Фонаря, который скрылся от следствия). Тяжелыми преступлениями отмечен этот путь. На счету Князева и его соучастников и квартирные кражи, и взломы ларьков, и нападения на пьяных, и, наконец, ограбление Института. Менялся состав участников. После второго «дела» отошел Игорь, найдя в себе силы прислушаться к голосу совести. Появились новые «соратники».

Следствие сделало все, чтобы полностью раскрыть то, что совершили юноши, начавшие с проступка и докатившиеся до тяжких преступлений. И все же самое главное, самое важное пришлось выяснять на суде.

В процессе судебного следствия основное внимание суда было сосредоточено не столько на том, что было совершено, хотя и это исчерпывающе выяснялось, сколько на решении вопроса, как и почему все это случилось. И суд вместе с каждым, кого он допрашивал, искал ответ на этот основной вопрос.

Дело слушалось на выездной сессии суда. Большой зал судебного заседания был переполнен, и обстановка располагала к особой официальной торжественности, но председатель суда всемерно устранил все то, что хоть немного отдавало казенщиной. Ему было важно, чтобы каждый из подсудимых прежде всего вел счет с самим собой, со своей совестью, со своим прошлым. И если кто-либо из подсудимых отвечал сгоряча, не подумав, или, наоборот, излишне обдуманно и потому неправдиво, председатель в коротком раздумье взвешивал ответ и спрашивал:

— Так ли это? Подумайте!

И председателю, человеку твердому, отнюдь не снисходительному, зоркому и вместе с тем неистребимо верящему в то, что в человеке все должно быть человеческое, всегда удавалось вернуть подсудимого к счету с самим собой, к правде. В этом помогали ему и прокурор и адвокаты.

Внимание суда было оказано не только подсудимым. Едва ли обрадовался Анатолий Анатольевич Еремеев тому вниманию, которое ему было уделено в судебном процессе. Он был вызван свидетелем по инициативе суда. Раньше его никто не допрашивал по делу, и он явился в суд, явно недоумевая, зачем его обеспокоили. Он работает начальником планового отдела завода, очень занят, и нечего его зря тревожить по пустякам. Так, конечно, он не говорил, но всем своим видом давал это понять, а также и то, что он здесь, наверняка, по недоразумению, поскольку, само собой разумеется, ни он, ни его сын не имеют никакого отношения к преступникам, чье дело разбирается. Допрос Еремеева сначала как будто показал, что, действительно, зря вызвали его в суд.

— Что вы можете сообщить по делу?

— Ничего.

— Известны ли вам какие-либо незаконные действия подсудимых?

— Ничего не известно!

— Это верно?

— Абсолютно!

— Садитесь, пожалуйста!

— Я могу уйти?

— Нет, вам придется немного подождать,— сказал председатель и, обратившись к Князеву, предложил рассказать о разговоре с сыном Еремеева.

Князев рассказал. В их школе в 7-м классе учится тезка его — Витя Еремеев, четырнадцати лет. На третий или четвертый день после первой кражи, вечером, Князев случайно встретил Витю Еремеева, который подошел к нему и сказал: «Витёк, дай шоколаду». Князев оторопел, но взял себя в руки и, показав кулак, осведомился: «Этого не хочешь?» Но Витя не испугался и сказал удивленно: «Ну, и жадюга ты». Понимая, что неспроста Еремеев заговорил о шоколаде, Князев все-таки пытался отнекиваться.

— Да где я тебе, дурило, возьму шоколад? Нет у меня шоколада!

— Не ври! Я все знаю!

— Что ты знаешь? Что?

— Все!

— А ну, иди сюда! — Князев оттащил Еремеева в сторону.

Тот объяснил, что он видел, как Князев стаскивал в погреб ящики, но Витёк может быть спокоен, он ни за что не скажет. Пусть его режут, не скажет. Никому!

— И дома не скажешь?

— Уже сказал!

Князев понял, что все пропало. Но Витя Еремеев его успокоил. Оказывается, когда он рассказал отцу про кражу, тот сначала возмутился, решил сразу же заявить, но Витя расплакался, сказал, что дознаются, кто выдал. Мама стала кричать на отца, чего ради он собирается погубить единственного сына! Отец помолчал, а потом спросил: «Отец Князева — полковник?» Витя ответил, что да, полковник. Отец снова подумал и сказал: «Хорошо, ты ничего не видел, нам ничего не говорил, и я ничего не знаю. Но смотри мне, если будешь водиться с ними!» А еще позже отец добавил: «Смотри, не проговоришься. Забуди! Навсегда забудь». Так что пусть Князев не беспокоится, отец никому не скажет. Он даже его, Витю, раза два спрашивал: «Не проговорился?»

Когда Князев кончил рассказ, председатель вновь вызвал Еремеева.

— Так вы знали о краже?

Еремеев молчал. Председатель не торопил его. Когда

на человека смотрит так много народа и все ждут ответа, секунды молчания тянутся необыкновенно долго. Еремеев, очевидно, сообразив, что могут вызвать его сына и провести очную ставку, если он будет отказываться, помолчал еще несколько секунд, словно на что-то надеясь, и, наконец, выдохнул:

— Знал.

Председатель задал ему еще только два вопроса.

— Если бы вы тогда же рассказали о краже, то, как вы думаете, был бы этот процесс?

Еремеев только вздохнул, но ответ был ясен.

— Как вы сами расцениваете свое поведение?

Еремеев молчал.

Урок, который он получил на суде, как, впрочем, и все присутствующие в зале, был не единственным. В судебное заседание был вызван и директор той школы, где учились ребята.

Директор говорил слова гневные и справедливые. Говорил он с видимой охотой и производил впечатление человека, говорящего искренне. Он, очевидно, считал, что сейчас, на процессе, должен хоть в какой-то мере восполнить пробелы в воспитательной работе, которую он явно не успел проделать за время пребывания в школе Князева и других. Давая характеристику бывшим школьникам, он говорил о Князеве, с трудом сдерживая негодование. В Князеве — основное зло; он тщеславен, постоянно стремился быть везде первым, женихом на всех свадьбах, покойником на всех похоронах; у него не хватило воли и знаний, чтобы быть первым в учебе и общественной работе, поэтому он повел за собой ребят на темные дела, — в них легче быть первым. Цинизм ему заменяет ум, готовность удовлетворить всякое свое желание он принимает за силу воли.

Защитник Князева спросил:

— Давно ли эти черты характера проявились у Князева?

— Постепенно, но достаточно давно.

— Что же сделала школа, чтобы ученик преодолел эти черты в себе и не воздействовал плохо на других?

Директор не ответил. Защитник продолжал допрос:

— Накладывала ли школа какие-либо взыскания на Князева?

— Насколько помню, нет.

— Разве не было проступков?

— Были.

— Почему же не было взысканий?

Директор и на этот раз ничего не ответил. Может быть, он вспомнил посещения Елены Николаевны, ее «доводы» и то, как он им уступал. Его достаточно красноречивое молчание не прекратило допроса, он неумолимо продолжался.

— Был ли такой случай, когда из шкафа в кабинете директора украли спирт, предназначенный для физического кабинета?

— Да, такой случай был. В прошлом году.

— Было ли об этом кому-нибудь официально сообщено?

— Нет.

— Считает ли директор, что спирт был выкраден кем-нибудь из учеников?

— Не было уверенности, но было предположение.

— Промолчав о краже, не проводя расследования, не укреплял ли директор чувство безнаказанности у учеников?

— Мне это не пришло в голову.

— А сейчас?

— Да, сейчас понимаю, что это могло создать мнимое впечатление безнаказанности у учеников.

— А то, что вы не накладывали взыскания на Князева, не могло ли вызвать, как вы выразились, «мнимое впечатление безнаказанности»?

Когда в ответ на такой вопрос молчат, а в зале сидят сотни людей, то они отвечают за директора, и притом не очень для него лестно.

Перед судом проходили матери и отцы тех, кто сидел на скамье подсудимых. То, в чем эти удрученные горем люди не решались самим себе признаться, было показано без всякой недоговоренности, в резком свете правды: в какой-то самый решающий момент они проглядели что-то очень значительное и решающее в своих сыновьях.

Во время речи прокурора председатель незаметно, но внимательно рассматривал лица подсудимых. Что чувствуют они? Вершат ли они сами над собой суд? Или влется на того, кто их изобличает?

Прокурор начал свою речь так:

— Недавно я был в Ботаническом саду.

Начал он так не ради эффекта, не для того, чтобы поразить слушателей неожиданностью. Говорил он просто, без всяких ораторских приемов, но с большим напряже-

ним. Он, видимо, постоянно искал, как бы поточнее выразить мысль, искал снайперской меткости мысли, а не фразы.

Прокурор рассказал, как там, в Ботаническом саду, впервые в жизни — раньше не доводилось — он увидел японские карликовые деревья. У них есть и ствол, и корни, и листья — все как у настоящего дерева, но все не такое, и не в том дело, что маленькое, нет — все искривлено, искорежено, искалечено и какое-то жалкое, ничтожное; посмотришь на такого карлика — и остается отвратительное, гнетущее впечатление.

И он подумал теперь, что как мало общего между могучим, высоким красавцем дубом и скрюченным карликом-уродцем, растопырившим искалеченные веточки, так же мало общего между гордыми, высокими и прекрасными чувствами — дружбой, смелостью, стремлением к неведомому, скромностью — и теми карликовыми, даже не чувствами, а скорее ощущениями, которые подсудимые отваживались называть «чувством товарищества», «смелостью».

Прокурор постарался выразить свои мысли так, чтобы побуждения подсудимых были верно раскрыты и правильно оценены, чтобы они вызывали не сочувствие, а презрение и гнев. Он считал, что едва ли так уж важно знать, какое именно из мелких и малодостойных побуждений привело того или иного подсудимого к преступлению. Задуматься нужно над другим. Сама наша действительность, простая и глубокая правда нашей жизни оказывают могучее воздействие на человека, помогают ему стать лучше, справиться с недостатками. Почему же подсудимые не поддались этой необоримой силе воздействия и охотно сдались на милость мелких, насквозь эгоистичных и постыдных побуждений? Почему? Ответ найти не трудно, достаточно им спросить себя, что им ближе: строгая, взыскательная и прекрасная правда нашей жизни или жалкие привязанности себялюбца, — и все станет ясно.

Речь прокурора сделала свое дело. Если у кого-либо из подсудимых еще оставались павлиньи перья ложного романтизма и незаурядности, то теперь они были выщипаны. И лучше всех это чувствовали подсудимые. Недаром в течение перерыва, объявленного после речи прокурора, они не могли поднять глаз.

Защитник Князева выступил первым. Старый, поседевший судебный боец, он не научился быть равнодушным, говорил прямо и резко. Но начинал он свои речи не то чтобы обыденно, но как-то скучновато. И те, кто его слышал

впервые, испытывали нечто вроде разочарования. Репутация мастера слова отнюдь не оправдывалась. Но прошло несколько минут, и слушатель начинал думать: «Вот в зале, скажем, пятьсот человек, а он говорит как будто только для меня, только мне одному». Когда оратор обращается ко всем, можно отвлечься, но когда с тобой одним разговаривает, слушаешь, конечно, по-иному...

Защитник начал со справки. Школа, в которой учился Князев, совсем молодая; первый выпуск был пятнадцать лет тому назад. И школа знает судьбу своих первых выпускников. Среди них нет, правда, ни особых героев, ни выдающихся талантов, но нельзя не радоваться при мысли о том, какая светлая, умная, достойная жизнь у каждого из первых выпускников. Если сравнить жизнь каждого из них с той жизнью, которую вел Князев, то ботаническое сравнение товарища прокурора покажется убедительным. В приведенном сравнении, говорил защитник, хоть и есть доля правды, но есть и опасность, притом немалая. Этот процесс еще и еще раз убеждает, что нет непроходимой черты между подростком, который выходит на широкий и светлый жизненный путь, и подростком, который сворачивает на извилистую тропку, в конце которой — топь. Деление на карликов и великанов — опасно. Что с карлика возьмешь, что о нем заботиться, руби его — и кончено. В жизни все много сложнее. Не сразу, не прыжком уходит с верного пути подросток. Робко, неуверенно, как правило, неосознанно делает он первые шаги в сторону. Вот тут-то его остановить, помочь, раскрыть глаза. Но для этого нужна чуткость, умная, зоркая любовь и — самое главное — нужно понимание. В деле воспитания нет мелочей, проглядишь что-нибудь на первый взгляд незначительное — и уже не сможешь помочь. Князев виновен, но он ли один?

Защитника слушали отцы и матери, переполнившие зал. И они не могли не спросить себя с волнением, тревогой, с боязнью ошибиться: хорошо ли они знают своих детей и строят ли свои отношения с ними так, чтобы могли помочь им, когда в этом будет нужда?

Подсудимые сказали свое последнее слово, и суд удался на совещание, чтобы вынести приговор, который определит справедливое наказание виновным и в то же время будет предостережением присутствующим,
